DOI: 10.15593/perm.kipf/2019.3.04

УДК 316.6(47+57)"193"

«ТРАВМА НЕВОЛИ» КАК ВИД СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАВМЫ В ГОДЫ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА (1930-Е ГОДЫ)

А.А. Колдушко

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Пермь, Российская Федерация

О СТАТЬЕ

Получена: 20 апреля 2019 г.
Принята: 27 мая 2019 г.
Опубликована: 04 октября 2019 г.

Ключевые слова:

историческая память, коллективная память, социокультурная травма, культурная травма, социальная травма, «травма неволи», идентичность, Большой террор, репрессии, нарративный подход, виктимизация.

АННОТАЦИЯ

Социокультурная травма в условиях крупных социальных потрясений XX века представляет собой одно из актуальных направлений исследования в мультидисциплинарном поле. Методологические подходы к исследованию социокультурной травмы аккумулируются и взаимодополняются усилиями ученых в области психологии, истории, философии, социологии, культурологии. Базовые характеристики социокультурной травмы и подходы к ее изучению были определены в трудах П. Штомпки, Р. Мертона, Р. Айермана, Дж. Александера, Н.Дж. Смелзера, А. Ассман. Поскольку основной методологический инструментарий в целом разработан, новейшие исследования предполагают детализацию и углубленное изучение частных случаев социокультурной травмы.

В настоящее время внимание привлекают крупнейшие социальные потрясения XX века, среди которых малоисследованным аспектом социокультурной травмы являются массовые репрессии 1930-х годов в СССР. В связи с этим важно осмыслить основные дефиниции и охарактеризовать инструментарий исследования. Целью данной работы стало определение места «травмы неволи» в исторической памяти прошлого. В предлагаемой статье автор вводит в научный оборот новое понятие – «травма неволи», выявляя ее ключевые характеристики и встраивая данную дефиницию в уже имеющийся дискурс социокультурной травмы. В качестве методов исследования используется нарративный подход, позволяющий выявить в источниках субъективного характера некоторые закономерности, характеризующие симптоматику травмы неволи. Источниками исследования стали как письменные, так и устные исторические источники, преимущественно личного характера. В статье рассматриваются основные этапы формирования «травмы неволи» с акцентами на основных симптомах травмы: арест, пытки, стигматизация «з/к», тяжелое возвращение, попытки рефлексии «травмы неволи». В результате анализа источников автор приходит к выводу, что «травма неволи» в большинстве случаев осталась травмой субъективной, сопровождавшейся только индивидуальной рефлексией. Она не стала частью коллективной социокультурной травмы, на преодоление которой направляются усилия общества и государства.

© ПНИПУ

© Колдушко Анна Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры государственного управления и истории, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5478-6545>, e-mail: koldushko@mail.ru.

© Anna A. Koldushko – PhD, Associate Professor, Department of Public Administration and History, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5478-6545>, e-mail: koldushko@mail.ru.

Эта статья доступна в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

“TRAUMA OF IMPRISONMENT” IN THE PERIOD OF THE STALINIST REPRESSIONS (1930-S)

Anna A. Koldushko

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

ARTICLE INFO

Received: 20 April 2019
Accepted: 27 May 2019
Published: 04 October 2019

Keywords:

historical memory, collective memory, sociocultural trauma, cultural trauma, social trauma, imprisonment trauma, identity, great terror, repression, narrative approach, victimization.

ABSTRACT

Social and cultural trauma in the context of major social upheavals of the twentieth century is one of the current research directions in a multidisciplinary field. Methodological approaches to the study of sociocultural injury accumulate and complement the efforts of scientists in the field of psychology, history, philosophy, sociology, and cultural studies. The basic characteristics of sociocultural trauma and approaches to its study were identified in the works of P. Shtompka, R. Merton, R. Ayermann, J. Alexander, N.J. Smelser, A. Assmann. Since the main methodological tool is mainly developed the directions of sociocultural research are connected with their detailed elaboration and in-depth particular cases of sociocultural trauma. At present the attention of researchers is attracted by the largest social upheavals of the twentieth century, among which the point of little-investigated sociocultural trauma is the massive repression of the 1930s in the USSR. In this regard it is important to comprehend the main definitions and characterize the research tools. The purpose of this work was to determine the place of "trauma of imprisonment" in the historical memory of the past. In the proposed article the author introduces a new concept into science – "the trauma of captivity", revealing its key characteristics and embedding this definition in the existing discourse of sociocultural trauma. As a research method a narrative approach is used, and it makes possible to identify some mechanisms of the subjective sources which characterize the symptoms of bondage trauma. Both written and oral historical sources, mostly personal, have become the sources of research. It has been discussed the main stages of the bondage injury formation with the emphasis on the main symptoms of the injury: arrest, torture, stigmatization, heavy return and attempts to reflect on the injury of bondage. As a result of the sources analysis the author has come to the conclusion that the trauma of bondage in most cases remained subjective, accompanied only by individual reflection. It has not become a part of a collective socio-cultural trauma, to overcome of which the efforts of society and the state are directed.

© PNRPU

Проблематика социокультурной травмы появилась в исследовательском историческом поле сравнительно недавно: произошла серьезная трансформация термина «травма» от медицинского определения до широкого толкования социологами, культурологами, историками травмы как социального, культурного феномена. В настоящее время исследования, посвященные анализу социокультурной травмы, фокусируются на крупных социальных потрясениях XX века: мировых войнах, массовых репрессиях, голоде и др. [см., например: 1, 2, 3, 4, 5].

Изучение травмирующего опыта репрессированных представляет собой непростую задачу. Как отмечает О. Ултургашева, основной проблемой при изучении травмирующего прошлого является осмысление, интерпретация и анализ прошлого в условиях недоступности архивных материалов, нехватки и фрагментарности статистических и исторических данных, свидетельств, документирующих непосредственный опыт узников ГУЛАГа, когда ушедшие из жизни и выжившие узники почти не оставили никаких биографических источников [6, с. 16]. В связи с этим отметим, что акцент в исследовании сделан на поэтапном изучении травмы неволи: от момента ареста до освобождения из лагеря и возвращения к нормальной жизни.

Источниками работы стали как официальные документы, сосредоточенные в архивах: документы личного характера (письма, обращения, жалобы), материалы допросов и передопросов, докладные записки, так и нарративные источники. Исследование базируется как на ранее опубликованных материалах [7, 8], так и на неопубликованных, размещенных в основном в архивно-следственных делах Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ, г. Пермь, Россия) и Политического архива Министерст-

ва иностранных дел Германии (Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes), (PAAA, Берлин, Германия). Полагаем, что объединение в одном исследовании такого разнообразного массива источников дает целостный взгляд на изучение травматического опыта, открывает перспективы более глубокого изучения проблемы.

Исследование ориентировано также на использование нарративного подхода, который позволяет рассматривать историческую реальность как вариант языковой и эмоциональной репрезентации. При использовании этого исследовательского метода следует учитывать, что особенностью личных воспоминаний является субъективизм, собственный взгляд на прошлое, фрагментарность зафиксированных в памяти человека фактов, явлений, процессов, частое искажение событий в памяти человека под влиянием последующих воспоминаний и наложении стереотипов официально транслируемого дискурса. Целостный же нарратив памяти, включающий в себя рефлексивные практики человека и более или менее отражающий объективную картину, встречается существенно реже. Как отмечает И. Щербакова, глубина и значимость воспоминаний напрямую связаны с тем, насколько их автор понимает, что происходило в стране и как это повлияло на его собственную судьбу, при этом особо подчеркивая, что многих авторов отличает отсутствие такого рода рефлексии [9, с. 177]. Существенное значение для исследования имеет также нарратив страдания, который, по мнению А. Ассман, становится ядром идентичности и единственным содержанием коллективной памяти [10, с. 95].

«Травма неволи» является частью общего дискурса социокультурной травмы. Она характеризуется особой симптоматикой, основные проявления которой наблюдаются как во время заключения, так и после освобождения. Стигматизация заключенных в советском обществе крайне редко позволяла им вернуться к прежней, «нормальной» жизни. Основные симптомы «травмы неволи» особенно ярко и остро проявляются в наихудших критических условиях, характеризующихся резкой сменой привычных социальных практик режимом физического выживания: голодом, холодом, отсутствием элементарных бытовых условий, одежды, сна. Вместе с тем попадание в заключение означало целенаправленное «вытравливание» в человеке всех социальных, человеческих черт с помощью постоянного унижения, насилия, пыток. Этот феномен свое наибольшее освещение получил в мемуарах, художественной и публицистической литературе [11, 12], [13, с. 376–380], [14]. Для советского человека, более или менее усвоившего новые символы, нормы и практики «советскости», особенно достигшего высокого социального статуса и внезапно ставшего «врагом народа», человека, пережившего обыски, аресты и прошедшего лагеря, жизнь поделилась на две части: до и после. Попытаемся поэтапно реконструировать процесс формирования травмы неволи.

Арест

До ареста жизнь репрессированных была наполнена повторяющимися традиционными повседневными практиками, которые охватывали сферу семьи, быта, досуга: ужин в семейной обстановке, встречи с друзьями, прогулки...

Момент ареста характеризуется социальной инверсией – ставится под вопрос смысл жизни, происходит резкая, насильственная маргинализация человека. Дж. Агамбен, итальянский философ, вводит в исследовательское поле понятие «голая жизнь» [15]. Думается, оно очень точно характеризует изменения, происшедшие с оказавшимся в заключении человеком. Голая жизнь (жизнь *homo sacer*) – жизнь человека, которого можно убить, но нельзя принести в жертву. Неволя здесь выступает как некое пространство вне времени, вне законов, между социальной смертью и смертью биологической, зависимость заключенного от воли суверена

(в данном случае – от воли охранника, надзирателя и т.д.). И отправной точкой превращения в *homo sacer* становился факт ареста.

Арест становился полнейшей неожиданностью, крушением всего жизненного мира как для самого репрессированного, так и для членов его семьи. Шок от исчезновения близкого, родного человека наносил глубокую травму родственникам. В одном из обращений дочь арестованного в 1937 году пишет: «... за что, за что его вдруг 17/X арестовали <...>? Произвели обыск в квартире. Чего искали, в чем его обвиняют? Нам ничего не сказали, за что, за что его увели? Мы, вся наша семья, все, конечно, знаем, что он ни в чем не виноват, хоть под какую присягу в этом пойдем ...» [8, с. 273]. Воспоминания О. Волкова, который находился в лагерях с 1928 года и видел ситуацию «изнутри», содержат описание полнейшей беспомощности прибывших к месту заключения: «Люди самые разные, но вид у всех растерянный: на лицах – обида и недоумение... У некоторых выражение, словно они не вполне осознают происходящее, надеются, что им это померещилось: они вот-вот очнутся и возвратятся к своим привычным делам» [14, с. 79].

Близкие совершенно справедливо недоумевали, почему арестовали невиновного: отца, мужа, сына; при этом аресты других, даже знакомых людей, воспринимались спокойно, как нечто заслуженное и разумное. Вероятно, на этот процесс разделения на «своих» и «чужих» большое влияние оказал советский пропагандистский нарратив, который активно эксплуатировал идею усиления классовой борьбы в процессе строительства социализма. Это позволяло принимать аресты «чужих» как справедливое явление, а собственный арест и арест родного и близкого человека вызывал внутренний протест и непонимание. Атомизация советского общества 1930-х годов очень четко проявлялась на примере восприятия арестов: с одной стороны, осуждение жертв арестов, уверенность в достаточной доказанности вины «чужих», с другой – категорическое неприятие адекватности репрессивных практик в отношении «своих».

Членов семей арестованных сторонились, избегали общения с ними, будто семья, в которой есть арестованный, была заражена смертельно опасной болезнью. Казалось, что эта «болезнь» не пощадит никого, кто имеет хоть какое-то отношение к арестованным. Официальный дискурс, впрочем, как и чувство самосохранения советского гражданина, предписывали необходимость отречения от арестованного, даже если это был близкий и родной человек. Из докладной записки начальника Чердынского районного отдела НКВД Фокина мы узнаем: «Панина Н., как советский учитель, должна была из ареста ее мужа Короткова извлечь урок и связь с Коротковым прервать». Мало того, что женщина не прервала эту порочную с точки зрения советской пропаганды связь, но и обвинила в аресте невиновного НКВД, заявила, что дождется мужа и будет «несмотря ни на что с ним жить». Наказанием за «порочную связь» для Н. Паниной стало то, что она лишилась возможности быть агитатором по подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР [8, с. 318]. Как правило, арест главы семьи приводил к катастрофическим последствиям и для остальных ее членов: увольнение с работы, исключение из партии, арест, за которым следовало многолетнее заключение.

Одна из респонденток, дед которой был выслан в 1938 году как гражданин иностранного государства за пределы СССР, вспоминала, что бабушка после ареста мужа была уволена с работы и долго не могла найти работу. С большим трудом ей удалось устроиться работать на молочную кухню. У нее было трое маленьких детей, жить было очень тяжело (Интервью с М.Р. Ключе 23.12.2016. Из личного архива автора).

В письмах, адресованных органам власти с просьбой о реабилитации мужей, почти все женщины также сообщают, что после ареста мужа потеряли работу и средства к существова-

нию: «После этого (имеется в виду арест – *А.К.*) меня как жену М.Я. Бугулова сняли с работы, исключили из партии. Я тяжело заболела душевной болезнью» [16, л. 275–275Об.]. Следствием утраты социального статуса, проявившейся в потере членства в партии, изгнании из трудового коллектива, явилось психическое заболевание.

Особенно нелегко пришлось женщинам, которые были арестованы вслед за своими мужьями. В одном из писем жена бывшего секретаря Кагановичского райкома ВКП(б) г. Перми О.А. Балтгалв пишет: «20 сентября 1937 г. днем был арестован муж, а вечером, придя с работы, была взята и я». На первом допросе в НКВД ей было предъявлено обвинение в том, что муж занимался контрреволюционной деятельностью, а она не сообщила об этом в компетентные органы. «Где и когда и занимался ли вообще мой муж контрреволюцией, мне неизвестно и до сих пор. Так что же я, ничего не зная, могла укрывать? И мог ли мой муж, выросший в беднейшей семье свинопасом и который только благодаря советской власти стал человеком, сделаться врагом народа?» Ольга Александровна Балтгалв находилась под арестом десять месяцев, а в июне 1938 года пришедший следователь зачитал ей приговор Особого Совещания при НКВД, согласно которому она как член семьи изменника Родины была осуждена к исправительно-трудовым лагерям сроком на восемь лет [7, л. 4Об.–5].

Жена другого репрессированного партийного работника, секретаря Пермского горкома ВКП(б) А.Я. Голышева, Л.М. Голышева, врач по профессии, писала об обстоятельствах ареста: «Через полгода после ареста мужа арестовали и меня, несмотря на то, что у меня на руках осталось трое детей. До ареста я работала в качестве врача-экстерна в Пермской госпитальной терапевтической клинике мединститута. После ареста мужа я была направлена Свердловским облздравотделом в Куединский район, где продолжала работать до момента ареста. 25 октября 1938 года меня вызвали оказать помощь одному из заключенных Куединской тюрьмы. Оттуда я уже не вернулась. Меня задержали как арестованную, а спустя некоторое время отправили в Свердловскую тюрьму» [18, л. 6–6Об.].

Подобная участь постигла и жену секретаря Чусовского горкома ВКП(б) М.В. Мальцева А.Я. Сендарович, которая вскоре после ареста мужа также была арестована. В своей жалобе в официальные органы с просьбой о реабилитации она подробно, до деталей, рассказывает события почти 20-летней давности: «По приезду в Свердловск 10 августа 1937 г. в 10 час. утра Мальцев пошел в обком. Я ждала его в сквере у обкома и видела, как в 5 часов вечера он в сопровождении нескольких человек был выведен из обкома, посажен в машину. И больше я его не видела. Я ждала его несколько дней, думала, все выяснится и он вернется, но этого не случилось». Далее А.Я. Сендарович рассказывает, что по возвращении в Чусовой, где они жили, у нее отобрали кандидатскую карточку в члены партии, уволили с работы, после чего она вернулась в Свердловск, чтобы добиваться свидания с мужем. «В городе я стала узнавать, что с Мальцевым, и требовать свидания с ним. В течение полутора месяцев я получала обещания от следователя Мальцева и только. Наконец в конце сентября следователь мужа велел передать ему теплые вещи и тогда будет дано свидание». Ася Яковлевна передала в тюрьму вещи, и 1 октября 1937 года, утром следователь вызвал ее на свидание. В коридоре она просидела до 11 часов вечера. «Наконец, в 11 вечера вызвали в комнату, и следователь заявил, что я арестована, отобрали бывшие со мной документы, [он] заявил, что Мальцев враг народа, а я знала, но не сообщила куда следует». А.Я. Сендарович обманом была увезена в тюрьму, не получив никакого свидания с мужем. В тюрьме она провела девять месяцев, лишь два раза была вызвана на допросы. «Придумали, будто бы у меня на квартире нашли какие-то пробирки, в которых якобы были какие-то составы (я даже не по-

няла, какие). Я следовательно плюнула в лицо, что я могла больше сделать». В апреле 1938 года Ася, тридцатилетняя молодая женщина, была осуждена к восьми годам исправительно-трудовых лагерей как член семьи изменника Родины [19, л. 127–130].

Воспоминания, связанные с арестом, навсегда сохраняются в памяти репрессированных до мельчайших подробностей и остаются самыми яркими. Арест был первым шагом формирования индивидуальной травмы, шоковым фактором, соединившим в себе эмоциональные переживания и физическую изоляцию. Вместе с тем момент ареста можно считать отправной точкой виктимизации, началом складывания нарратива жертвы, основными мотивами которого становились обстоятельства ареста, эмоциональное состояние арестованного, потеря привычных семейных, досуговых, трудовых, партийных связей, утрата идентификационных характеристик, присущих советскому человеку.

Пытки

Как отмечают исследователи, авторы книги, посвященной истории «кулацкой» операции 1937–1938 годов в Прикамье, пытки в отношении подследственных не были обычным делом. Для того чтобы выбить показания из такого количества людей, сотрудникам НКВД «просто не хватило бы сил». Их экономили для наиболее важных подследственных, заранее записанных в руководители повстанческих штабов и специально подготавливаемых для признаний на заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда [20, с. 97]. Речь идет о пытках, применяемых в ходе осуществления массовой операции по приказу № 00447, более известной как «кулацкая» операция. Действительно, свидетельства о физическом и психологическом насилии гораздо чаще можно обнаружить в заявлениях и письмах бывших партийных руководителей. Репрессивные операции накладывались одна на другую, сплетаясь в причудливый узел с «национальными» операциями – польской, немецкой, харбинской, в которых насилие было одной из составляющих следственных действий.

Источники личного происхождения дают нам возможность оценить степень травматизации арестованных в результате избиений, издевательств следователей. Анализ заявлений из заключения, адресованных начальникам управлений НКВД, прокурорам, секретарям ВКП(б), показал, что их тексты в большей степени посвящены описанию издевательств и пыток. Так, арестованный И.И. Петрашко, бывший директор завода №10 им. Дзержинского, указывал, что «был вызван и посажен на четырехсуточный и непрерывный допрос; и только после обморочного припадка и сердечных припадков, а также бреда от высокой температуры был от этого так называемого допроса освобожден, не подтвердив никакой липы». Через сутки он снова был допрошен, на сей раз допрос длился непрерывно двое суток. 26 июля 1938 года Петрашко, еще не выздоровевший, был вызван в кабинет начальника городского отдела НКВД Вайнштейна, который потребовал подтвердить, что Петрашко – член контрреволюционной организации правых. После отказа сотрудники НКВД Вайнштейн, Годенко и Ерман начали бить его по голове, по лицу, по шее, по позвоночнику, требуя писать заявление на имя начальника Областного Управления НКВД с признанием. «Били меня кулаками, ногами, стеклянной пробкой от графина, били до потери сознания, заявляя мне, что стены горотдела НКВД ничего не выдадут, и если я не подпишу того, чего они требуют, так буду убит, так как избиение не будет прекращаться». Это избиение продолжалось восемь часов, после чего Петрашко дал согласие «что угодно подписать, дабы спасти свою жизнь до суда» [8, с. 330].

Бывший секретарь Нытвенского райкома ВКП(б) Ашихмин в заявлении на имя прокурора так описывал один из допросов: «Следователь Мельников продержал меня на допросе

18 часов, требуя подписи в совершенно невероятных обвинениях, а когда я от подписи отказался и методы следствия назвал методами фашистских застенков, он ударил рукояткой пистолета по кисти моей правой руки, разбил указательный и средний пальцы, перебил сухожилия. С тех пор эти два пальца не работают. После такого «допроса» меня вернули в подвал и не вызывали свыше 2 мес.» [21, л. 75Об.]. В отношении другого секретаря райкома ВКП(б) Мальцева, расстрелянного 19 января 1938 года, свидетель рассказывал, что видел Мальцева, которого сотрудники УНКВД вели по коридору под руки, избитого, лицо было окровавлено. Этот сотрудник говорил, что когда Мальцева вели по коридору, то он кричал: «Что вы делаете чекисты!» [22, л. 150].

Описание издевательств и пыток мы видим и в передопросах иностранцев, высланных за пределы СССР. В протоколе допроса в Люблине после депортации Франц Винтер сообщал сотрудникам гестапо: «Во время моих допросов в Калинин я был подвергнут жесточайшим истязаниям со стороны еврейского следователя. При этом у меня было выбито 8 зубов. Из-за ударов в мое левое ухо у меня разорвалась барабанная перепонка, так что я сегодня больше не слышу на это ухо» [23]. Другой гражданин Германии, Эдуард Клюге, на таком же допросе заявлял: «Заставили меня стоять 42 часа, а следователи, конечно, постоянно менялись. За это время я не получил ни воды, ни еды. Тем не менее, мне предлагали чай, но я отказался. Другие заключенные мне сказали, что после этого чая человек впадает в бессмысленное состояние и подписывает все» [24]. Как видим, насилие было составной частью следственного процесса, включающего физические издевательства, лишение возможности удовлетворения элементарных физиологических потребностей: сна, еды, гигиены. Эти свидетельства характеризуют главную цель пытки во время ведения следствия: сломать человека, деморализовать его и заставить подписать нужные показания.

Угроза насилия порой была не менее действенным методом, чем его реальное осуществление. Письма, которые писали заключенные своим родственникам, пронизаны болью, ужасом от происходящего, страхом за оставшихся на воле членов семьи. Один из заключенных писал своей жене, что его заставляют подписать показания следующего содержания: состоял в контрреволюционной организации эсеров, занимался подготовкой повстанчества, террористических актов, совершал диверсии. Никакие протесты и отказы на следователя не действовали. «Думал: хорошо бы, если бы сдохнуть в холодном карцере. Но на это получил ответ, что сдохнуть не дадут, т.е. будут мучить, сделаешься полукалейкой, а затем подпишешь, как делали другие, не выдержав мучений. И заявление подписал». Затем заставляли писать протокол допроса, и когда автор письма сказал следователю, что не знает, что ему писать, то следователь ответил, что у них и так хватит материала. После этого подследственному дали на подпись протокол допроса, отпечатанный на машинке: является немецким шпионом, поджигал склад с боеприпасами, но пожар потушила пожарная команда; отравил 5 лошадей в совхозе, получил за это 1500 р.; тренировался в Осоавиахиме по стрельбе – убивать готовился, получил 2000 р. и купил 5 ружей, раздал их для восстания и «другая ересь», как выразился автор письма. В этом письме беспокойство за беременную жену: «Протокол подписал – боялся, как бы из-за меня не потащили в тюрьму тебя (хотя в последнее время перед родами – они способны). <...> Боюсь, чтобы тебя, Дуся, также не постигла эта участь. Прямо жутко подумать, что творится. Хотя, по слухам, семьи не тревожат больше. А то здесь женщин до 300 человек» [8, с. 319–320].

Насилие по отношению к женщинам, можно сказать, было довольно будничным делом. В заявлении о пересмотре дела и отмене приговора заключенная УхтижемЛАГа Т.М. Шляп-

никова пишет: «Следствие велось необычайно грубо. Неоднократно следователь угрожал мне побоями. Он заставлял меня подписывать все протоколы» [8, с. 178]. Травмирующий опыт насилия, отраженный в воспоминаниях женщин, переживших ГУЛаг, предстает перед нами в мемуарах Е. Глинки [13, с. 376–380], в книге М. Штарка «Frauen im Gulag. Alltag und Überleben 1936–1956» [25], воспоминаниях, опубликованных Ниной Камм [26], и др.

В связи с этим наиболее точно концептуализирует описываемые события Йорг Баберовски, используя термин «пространство, где возможно насилие» (Ermöglichungsraum) или «пространство насилия» (Gewaltraum). Эти понятия характеризуют определенную социальную ситуацию, которая сильно увеличивает вероятность насилия, делает его возможным, стимулирует и даже требует его [27, с. 7–27]. Таким «пространством» в концентрированном виде стали тюрьмы и лагеря. Здесь не работали правовые нормы, не соблюдался закон, были отброшены за ненадобностью моральные и нравственные нормы, исчезло человеческое достоинство. Узник должен был отказаться от всего человеческого, социального и превратиться в существо. Как отмечает А. Эткинд, не логика производства, а логика пытки определяли жизнь и работу ГУЛАГа. Лагеря пыток переделывали природу человека в масштабах всей страны. Применение пыток в тюрьмах и лагерях превращало людей в «доходяг, безразличных ко всему, кроме пайки хлеба и иерархии в лагерном бараке» [28, с. 47]. Испытанное в заключении насилие, физическое и психологическое, оставило неизгладимый след и в будущей жизни жертв репрессий. Как отмечал Я.К. Берендс, о пытках вспоминали долго, а применение насилия посылало обществу определенные сигналы: «насилие структурирует социальные действия даже тогда, когда оно уже не грозит человеку непосредственно. Страх остается тотальным и перед насилием ограничивает возможности для действий» [29, с. 44].

Клеймо «зк», или Тяжелое возвращение

После возвращения из лагерей бывшие заключенные несли тяжелое бремя воспоминаний, унижений, издевательств, пыток в свободную жизнь. Они надеялись, что их мучения наконец закончились, но реальность оказалась не такой, как они ее себе представляли. Оказалось, что дома, в прежней жизни, их никто не ждал. Ася Сендарович [о ней написано выше – А.К.] после освобождения никак не могла устроиться на работу, получая отказ по причине судимости. Ее племянница Рита Штейн в своих мемуарах пишет, что Ася Яковлевна жила очень одиноко: не было ни мужа, ни детей. «Тетя Ася никогда не рассказывала о себе, работала она машинисткой, получала гроши и умерла в 53 года от рака. Позже тетя Вера рассказала мне, что до войны Ася и ее муж были партийными работниками, репрессированы, сосланы в Казахстан. Через пятнадцать лет, в 1954 году, Ася вернулась в Свердловск, а муж ее – нет. Впоследствии оба реабилитированы» [30]. Сама Ася Яковлевна с горечью отмечала, что написав из лагеря сестре мужа, получила ответ, что ее там знать не желают, т.к. пришли сотрудники НКВД с обыском и «забрали все хорошие вещи» [19, л. 130Об.].

После освобождения многие оставались в тех же местах, где отбывали наказание – на Колыме, в Казахстане и т.д. Причины разнообразием не отличались: либо было не к кому и некуда ехать, либо был установлен запрет на выезд в условиях военного времени. Судимость для бывшего политзаключенного означала невозможность возвращения в ту точку, с которой все началось. В своем письме бывший секретарь райкома Ашихмин пишет, что были созданы совершенно невозможные условия для бывших политических заключенных: «...ограничение в правах, травля “бывших” со стороны политических слепцов, которых, к сожалению, еще немало, травля семьи, в частности детей» [21, л. 76].

Были разрушены семьи, что для матерей было невыносимо. Л.М. Голышева, получившая наказание в виде восьми лет лагерей, писала, что ее лишили права на материнство. «Когда меня арестовали, дома остались 3 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Мне не разрешено было, несмотря на мои мольбы, даже попрощаться с детьми и дать какой-нибудь совет, как жить дальше без отца и матери. В дальнейшем дети потеряли друг друга, будучи направленными в детские дома по разным городам» [18, л. 7].

О.А. Балтгалв также пишет о разрыве связи с детьми: после ареста дети остались с бабушкой без средств существования, а вскоре были отправлены в детский дом. Травмирующим фактором для Балтгалв, находившейся в заключении, стала смерть ее матери от истощения. 20 сентября 1945 года. О.А. Балтгалв была освобождена, но оставалась на работе в Карагандинской области, так как ей некуда и не с кем было выехать. Только через три года ей удалось переехать к сыну, но отношения с ним не сложились. Далее она в письме сообщает, что живет совершенно одна, много работает: «Мне уже 54 года, здоровье и силы подорваны и я морально убитый человек» [17, л. 5–50б.].

В результате арестов и длительного заключения происходило разрушение привычных семейных связей между родителями и детьми, что наносило непоправимый ущерб и детям, жизнь которых кардинально изменилась: дети арестованных отсылались в детские дома и вырастали без родителей. Братьев и сестер разлучали, рассылая в разные города, нередко были случаи, когда дети погибали.

Разрушение традиционных семейных связей, личных отношений детей и родителей приводило к тому, что бывшие заключенные после возвращения из ГУЛАГа оказывались в одиночестве. Для бывшего зека не было места в советском обществе: возможность повторной социализации в семье, в трудовом коллективе была крайне затруднена. Большую роль играл в этом процессе пропагандистский фактор. В 1935 году на совещании передовых комбайнеров прозвучала знаменитая фраза Сталина «сын за отца не отвечает», которая стала своего рода водоразделом между поколениями. Для объяснения непримиримых различий двух разных миров А. Эткинд использует термин «неузнавание», отмечает, что сцены неузнавания друг друга близкими людьми после возвращения демонстрируют, насколько радикальным было вторжение государства в самые глубокие, самые частные аспекты семьи и родства. Ближайшие родственники не узнавали друг друга, потому что государство переделало их обоих, каждого по-своему [28, с. 86]. Такое «неузнавание» приводило к продолжению изоляции бывших заключенных в обществе и вне стен лагеря.

Тяжелые травмы, связанные с утратой семьи, пережили и высланные за пределы СССР иностранцы. У Эдуарда Клюге, высланного в 1938 году в Германию, в г. Кизеле остались жена и трое детей. Он много лет хлопотал о том, чтобы семье дали возможность уехать к нему, но безуспешно. Умер в одиночестве в 1948 году.

Фриц Балтес, подсудимый – участник показательного процесса в г. Кизеле [подробнее см.: 31, с. 543–552], приговоренный к высшей мере наказания, в конце концов был выслан в Германию. Жена и сын остались в СССР. По воспоминаниям жены брата, Фриц Балтес работал в Реклингхаузене на шахте, жил замкнуто и одиноко и никогда не рассказывал о том, что с ним произошло. Умер в 1975 году.

После освобождения бывшие политические заключенные сталкивались с трудностями поиска работы, жилья, с выстраиванием личных отношений. Клеймо «бывший заключенный» даже после реабилитации не позволяло вернуться к привычной жизни.

После возвращения из заключения бывшие политические заключенные были вынуждены обивать пороги в поисках работы, соглашаться на неквалифицированный труд. В письмах

в органы власти основной темой проходит фраза: «Меня никто не хочет брать на работу после заполнения анкеты». «Меня допускали только на черную работу, везде я была оттолкнута как враг народа», – пишет В.Я. Билибина [7, с. 61].

В чем я виноват? Ответственность за репрессии

В письме заключенного Соликамской тюрьмы А.В. Щеголихина своей жене, датированном маем 1938 года, есть одно очень важное замечание. Щеголихин пишет, что вынужден сидеть со спецпереселенцами, которых в тюрьме большинство, «настроение и разговоры которых враждебные. А нам приходится сидеть среди них, возражать им и ругаться» [8, с. 319]. Как видим, арестант не идентифицирует себя как заключенного, он презирает спецпереселенцев, считает, что его арест – это ошибка, которая вскоре должна быть исправлена, в то же время арест спецпереселенца для него справедлив. Вина за несправедливый арест возлагается им на местных сотрудников НКВД, автор письма верит, что начальство разберется и справедливость будет восстановлена.

Письма из заключения, как правило, не содержат адресных обвинений, это скорее акт отчаяния. Приведем письмо заключенного Г.К. Понеделькова от 1 мая 1939 года.

«Здравствуйте, уважаемые родители!

Сегодня первое мая – праздник трудового народа, и мы его празднуем, хотя нас и причислили по неизвестным причинам к лику врагов народа.

Папа и мама, я жив и здоров, работаю и живу на прежнем месте. И по-прежнему весна в полном разгаре, тепло, травка показалась, народ гуляет по воле. Только мы никуда не ходим, сидим в неволе и почему сидим, за что сидим, черт его знает за что.

Папа, я писал много жалоб и заявлений на имя правительственных лиц, на имя прокуратуры, но ни одного ответа ни откуда не получил. Что нас ждет? Почему нас держат мне неизвестно, и чем эта жуткая картина кончится, не знаю. Если бы я был виновен хоть на йоту в том, в чем меня обвиняют, мне бы легче было бы сидеть, отбывая наказание за совершенное какое-то злодеяние, совершенно не зависимо при каких обстоятельствах, а то ведь этих злодеяний у меня абсолютный ноль и, вообще, ничего и никаких злодеяний не было!

Так за что же, черт возьми, я должен терпеть лишения всякие, что от меня хотят?

Ждем мы свободы каждый день, но каждый день мы ее не получаем. Сколько так будет длиться, не знаю, только должен сознаться, что начинает тошнить это ожидание, бесцельная жизнь начинает казаться в тягость и смысла ее не видно. Вот моя жизнь, вот мое состояние духа» [8, с. 35].

Письма, которые писали в органы власти бывшие политзаключенные, освободившиеся из лагерей, содержат сходную риторику: они уже сломлены, но по-прежнему апеллируют к справедливости, ищут защиты у власти.

Н. Адлер в своем исследовании отмечает уникальную особенность жертв сталинских репрессий, освободившихся из лагерей: они продолжали верить в коммунистическую идеологию, продолжали поддерживать всю систему убеждений, которая использовалась режимом для оправдания репрессий [32, с. 34]. Это утверждение справедливо для членов коммунистической партии, находившихся в заключении. Анализ писем с просьбой о реабилитации показывает, что бывшие политические заключенные указывали на несправедливое отношение к ним, но вину за случившееся с ними на власть при этом не возлагали. «За то, что ЦК довел до конца ликвидацию язв нашей партии, за все это сердечное спасибо!» – пишет в своем письме А.Г. Чернавин [7, с. 59].

Действительно, доверие к партийным и государственным органам было безграничным. Бывший секретарь Кизеловского горкома партии С.В. Борисов писал в письме, адресованном ЦК КПСС, в 1955 году: «Я верил в орган, руководимый Ежовым. Для меня то время было не «ежовщина», как сейчас говорят, а Ежов, посланный на эту работу ЦК нашей партии. Я тогда задумывался, почему все это происходит и приходил к мысли: лес рубят (действительных врагов), щепки летят. Какая – большая или маленькая, я оказался этой щепкой. В конце концов, и привело меня к тому, о чем по-человечески говорил следователь. То, что делается, так видно это нужно. И в своем сознании не мог быть в обиде на кого-то. Соппротивление для меня казалось ненужным и бесполезным» [33, л. 183]. С.В. Борисов, дважды наказанный за несуществующее преступление, первый раз в 1938-м, второй в 1949 году, который полжизни провел в лагере, тем не менее защищал и оправдывал власть. Даже потеря высокого социального статуса, превращение из секретаря горкома ВКП(б) в чернорабочего, не изменила мировоззрения Борисова. Н. Адлер видит в таких примерах сходство между коммунистической идеологией и религией. Заключенных сделали бессильными против абсолютной власти, лишенными имевшейся у них ранее поддержки общества, порицаемыми за их заключение под стражу, принуждаемыми к труду в отчаянно плохих условиях. В то же время «ГУЛАГ воссоздавал экзистенциальные условия, для которых религии исторически предлагали решение. <...> Людям приходилось претерпевать непредсказуемые и неуправляемые катастрофы, защититься от которых было выше человеческих сил. Религии предоставляли средство от этого, предлагая доступ к сверхъестественной силе, которая придает значение и смысл безопасности, основанной на вере и подчинении» [32, с. 80].

Травмирующий опыт репрессий в большинстве источников личного происхождения проговаривается как травма личная, основанная на индивидуальных воспоминаниях, которые каждый проживает самостоятельно. Этот опыт не приобрел характер коллективной, поколенческой травмы, поскольку «травма неволи» оставалась только в памяти самих репрессированных и их близких. Последующие поколения не воспринимают травмирующий опыт предыдущих поколений, как свою боль, стараясь дистанцироваться от нее, забыть. Следствием локализации травмирующего опыта на индивидуальном уровне стало то, что произошли изменения в идентичности большой группы людей, бывших заключенных ГУЛАГа. Так, произошла утрата привычных социальных статусов: семейного, политического, общественного, профессионального и др. Это проявилось также и в воздействии пережитого опыта на дальнейшую жизнь репрессированных и их близких.

Как отмечают исследователи, современное общество в целом также испытывает недостаток внимания к проблеме травмы [29, с. 51], [6, с. 16]. Таким образом, изучение «травмы неволи» до сих пор не потеряло своей актуальности, поскольку коммеморативные практики сталинских репрессий являются недостаточно развитыми. Отметим, что «проговаривание» травматических воспоминаний, их актуализация являются важнейшим инструментом превращения индивидуального травматического опыта в коллективный, без чего преодоление социальной травмы невозможно.

Список литературы

1. Травма: пункты / под ред. С. Ушакина и Е.Трубиной. – М.: Новое лит. обозрение, 2009. – 930 с.
2. Память о Холокосте в современной Европе: Общее и разделяющее [Электронный ресурс] / Стенограмма конференции 14.11.2013. – URL: <https://urokiistorii.ru/article/51912> (дата обращения: 12.01.2019).
3. Nach dem Holocaust: Medien postkatastrophischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland / Anna Artwińska/Anja Tippner (Hrsg.). – Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2017. – 302 S.
4. Aarons V., Berger Alan L. Third-Generation Holocaust Representation: Trauma, History, and Memory. – Evanston, Illinois Northwestern University Press, 2017. – 274 p.
5. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. – М.: Новое лит. обозрение, 2014. – 328 с.
6. Ултургашева О. Наследие ГУЛАГа в современной повседневности // Laboratorium. Журнал социальных исследований. – 2015. – № 1. – С. 5–14.
7. Реабилитация: как это было: докл. Президиума ЦК КПСС и др. материалы / сост. А. Артизов [и др.]; Междунар. фонд «Демократия». – М., 2003. – Т.2. – 958 с.
8. Политические репрессии в Прикамье, 1918–1980 гг.: сб. докл. и материалов / О.Л. Лейбович [и др.]. – Пермь: Пушка, 2004. – 558 с.
9. Щербакова И.Л. Память ГУЛАГа. Опыт исследования мемуаристики и устных свидетельств бывших узников // Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетии. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. – С. 168–185.
10. Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое лит. обозрение, 2016. – 223 с.
11. Шаламов В.Т. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. – М.: Эксмо, 2004. – 1066 с.
12. Солженицын А.И. Малое собрание сочинений. Т.3: Рассказы. – М.: ИНКОМ НВ, 1991. – 285 с.; Т.5: Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: Опыт худож. исслед. – М.: ИНКОМ НВ, 1991. – 541 с.
13. Глинка Е.С. «Колымский трамвай» средней тяжести // Доднесь тяготеет. – Т. 2: Колыма / сост. Виленский С.С. – Пермь: Звезда, 2004. – 575 с.
14. Волков О. Погружение во тьму // Роман-газета. – 1990. – № 6 (1132).
15. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fedy-diary.ru/html/102012/18102012-03a.html> (дата обращения: 12.01.2019).
16. Заявление от А.П. Бугуловой // ПермГАСПИ (Пермский государственный архив социально-политической истории). Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14268.
17. Заявление О.А. Балтгалв // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1 Д. 10443.
18. Заявление Л.М. Голышевой // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1 Д. 11275.
19. Заявление А.Я. Сендарович // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213.
20. «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. / А. Колдушко [и др.]; отв. ред. О.Л. Лейбович. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 316 с.
21. Заявление И.Д. Ашихмина // Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ). Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13466.

22. Протокол допроса свидетеля Н.Н. Кривоногова // Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ). Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213.
23. Winter Franz // Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes (PAAA). R 104565A.
24. Kluge Eduard // PAAA. R 104557 A.
25. Stark M. Frauen im Gulag. Alltag und Überleben 1936–1956. – München [u.a.] Hanser, 2003. – 552 S.
26. Kamm Nina. Weggesperrt. Frauen im Gulag. Erinnerungen. – Berlin: Karl Dietz Verlag, 2009. – 416 S.
27. Baberowski J. Einleitung: Ermöglichungsräume exzessiver Gewalt // Gewalträume. Soziale Ordnungen im Ausnahmezustand. – Frankfurt a. M., 2012. – 308 S.
28. Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных. – М.: Нов. лит. обозрение, 2016. – 323 с.
29. Берендс Я.К. Физическое насилие: подход к истории и повседневности коммунистической диктатуры // Повседневная жизнь при социализме. Немецкие и российские подходы. – М.: РОССПЭН, 2015. – 271 с.
30. Штейн Р. Выбери жизнь [Электронный ресурс] / Мемуары. – URL: <http://www.proza.ru/2016/04/05/1159> (дата обращения: 12.01.2019).
31. Колдушко А.А. «Больше, чем расстрелять, со мной ничего сделать не могут...»: подданные Германии на Кизеловском показательном процессе 1937 г. // Исторический журнал: научные исследования. – 2016. – № 5. – С. 543–552.
32. Адлер Н. Сохраняя верность партии: коммунисты возвращаются из ГУЛАГа. – М.: РОССПЭН, 2013. – 260 с.
33. Заявление С.В. Борисова // Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ). Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15214.

References

1. Trauma: punkty' [Injury: points]. Ed. S. Ushakina, E.Trubinoi. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2009, 930 p.
2. Pamiat' o Kholokoste v sovremennoi Evrope: Obshchee i razdeliaiushchee Stenogramma konferentsii 14.11.2013 [Holocaust Remembrance in Modern Europe: A Common and Sharing], available at: <https://urokiistorii.ru/article/51912> (accessed 12 January 2019).
3. Nach dem Holocaust: Medien postkatastrophischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland. Anna Artwińska/Anja Tippner (Hrsg.). Frankfurt am Main PL Academic Research, 2017, 302 s.
4. Aarons V., Berger Alan L. Third-Generation Holocaust Representation: Trauma, History, and Memory. Evanston, Illinois Northwestern University Press, 2017, 274 p.
5. Assman A. Dlinnaia ten' proshlogo. Memorial'naia kul'tura i istoricheskaia politika [The long shadow of the past. Memorial culture and historical politics]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2014, 328 p.
6. Ulturgasheva O. Nasledie Gulaga v sovremennoi povsednevnosti [Heritage of the Gulag in modern everyday life]. *Laboratorium. Zhurnal sotsial'nykh issledovaniy*, 2015, no.1, p. 514.
7. Reabilitatsiia: kak eto bylo: Dokument Prezidiuma TsK KPSS i drugie materialy [Rehabilitation: how it was: Doc. Presidium of the Central Committee of the CPSU and other materials]. Moscow, Mezhdunarodnyi fond "Demokratiia" 2003, vol. 2, 958 p.
8. Leybovich O.L. Politicheskie repressii v Prikam'e, 1918-1980 gg.: sbornik dokumentov i materialov [Political repression in the Kama region, 1918-1980: Collection of documents and materials]. Perm, Pushka, 2004, 558 p.
9. Shcherbakova I.L. Pamiat' GULAGA. Opyt issledovaniia memuaristiki i ustnykh svidetel'stv byvshikh uznikov [The memory of the Gulag. Experience in the study of memoirs and oral evidence of former prisoners]. *Vek Pamiati, Pamiat' Veka: Opyt Obrashcheniia s Proshlym v XX Stoletii*. Cheliabinsk, Kamennyi poias, 2004, pp. 168-185.
10. Assman A. Novoe nedovol'stvo memorial'noi kul'turoi [New dissatisfaction with memorial culture]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2016, 223 p.
11. Shalamov V.T. Vospominaniia; Zapisnye knizhki; Perepiska; Sledstvennye dela. Moscow, Eksmo, 2004, 1066 p.
12. Solzhenitsyn A.I. Maloe sobranie sochinenii [Small collected works]. *Rasskazy*. Vol.3. Moscow, INKOM NV, 1991, 285 p.; Vol. 5. Arkhipelag GULAG, 1918-1956: Opyt khudozhestvennogo issledovaniia. Moscow, INKOM NV, 1991, 541 p.
13. Glinka E.S. «Kolymskii tramvai» srednei tiazhesti ["Kolymsky tram" of moderate severity]. *Dodnes' tiagoteet. Kolyma*. Perm', izdatel'sko-poligraficheskii kompleks Zvezda, 2004, vol. 2, 575 p.
14. Volkov O. Pogruzhenie vo t'mu [Immersion in darkness]. *Roman-Gazeta*. 1990, no. 6 (1132).
15. Agamben J. Homo sacer. Suverennaia vlast' i golaia zhizn' [Homo sacer. Sovereign power and naked life], available at: <http://www.fedy-diary.ru/html/102012/18102012-03a.html> (accessed 12 January 2019).

16. Zaiavlenie ot A.P. Bugulovoi [Statement by A.P. Bugulova]. *PermGASPI (Permskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii)*, f. 641/1, op. 1, d. 14268.
17. Zaiavlenie O.A. Baltgalv [Statement O.A. Baltgalv]. *PermGASPI*, f. 641/1, op.1, d. 10443.
18. Zaiavlenie L.M. Golyshevoi [Statement L.M. Golysheva]. *PermGASPI*, f. 641/1, op.1, d. 11275.
19. Zaiavlenie A.Ia. Sendarovich [Statement A.Ya. Sendarovich]. *PermGASPI*, f. 641/1, op.1, d. 16213.
20. Koldushko A. 21 «Vkliuchen v operatsiiu». Massovyi terror v Prikam'e v 1937-1938 gg. ["Included in the operation." Mass terror in Prikamye in 1937-1938]. Ed. O. L. Leibovich. Moscow, «Rossiiskaia politicheskaiia entsiklopediia» (ROSSPEN), 2009, 316 p.
21. Zaiavlenie I.D. Ashikhmina [Statement I.D. Ashihmin]. *PermGASPI*, f. 641/1, op.1, d. 13466.
22. Protokol doprosa svidetelia N.N. Krivonogova [The protocol for the interrogation of witness N.N. Krivonogov]. *PermGASPI*, f.641/1, op.1, d. 16213.
23. Winter Franz. *PAAA (Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes)*. R 104565 A.
24. Kluge Eduard. *PAAA*. R 104557 A.
25. Stark M. *Frauen im Gulag. Alltag und Überleben 1936-1956*. München [u.a.] Hanser, 2003, 552 s.
26. Kamm, Nina. *Weggesperrt. Frauen im Gulag. Erinnerungen*. Berlin, Karl Dietz Verlag, 2009, 416 s.
27. Baberowski J. *Einleitung: Ermöglichungsräume exzessiver Gewalt. Gewalträume. Soziale Ordnungen im Ausnahmezustand*. Frankfurt a. M., 2012, 308 S.
28. Etkind A. *Krivoie gore: Pamiat' o nepogrebennykh* [Crooked Mount: Memory of the Unburied]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2016, 323 p.
29. Berends Ia.K. *Fizicheskoe nasilie: podkhod k istorii i povsednevnosti kommunisticheskoi diktatury* [Physical violence: an approach to the history and everyday life of the communist dictatorship]. *Povsednevnaia Zhizn' Pri Sotsializme Nemetskie i Rossiiskie Podkhody*. Moscow, ROSSPEN, 2015, 271 p.
30. Shtein R. *Vyberi zhizn'*. *Memuary* [Choose life. Memoirs], available at: <http://www.proza.ru/2016/04/05/1159> (accessed 12 January 2019).
31. Koldushko A.A. „Bol'she, chem rasstreliat', so mnoi nichego sdelat' ne mogut...“: poddannye Germanii na Kizelovskom pokazatel'nom protsesse 1937 g. ["They cannot do anything more than shoot me ...": German nationals at the Kizelovsky show trial in 1937]. *Istoricheskii Zhurnal: Nauchnye Issledovaniia*. 2016.
32. Adler N. *Sokhraniiaia vernost' partii: kommunisty vozvrashchaiutsia iz GULAGa* [Remaining faithful to the party: the Communists are returning from the Gulag]. Moscow, Rossiiskaia politicheskaiia entsiklopediia (ROSSPEN), 2013, 260 p.
33. Zaiavlenie S.V. Borisova [Statement C.The. Borisov]. *PermGASPI*, f. 641/1, op. 1, d. 15214.